

DOI: 10.31425/0042-8795-2023-1-

«ТЯЖЕЛАЯ ИСТИНА ГОГОЛЯ»: ЗАВЕРШЕНИЕ ПУТИ

ЕКАТЕРИНА ЕВГЕНЬЕВНА ДМИТРИЕВА

доктор филологических наук

Институт мировой литературы имени А. М. Горького

Российской академии наук

(121069, Российская Федерация, г. Москва, ул. Поварская, д. 25а),

Институт русской литературы

Российской академии наук (Пушкинский дом)

(199034, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, наб. Макарова, д. 4;

email: katiadmitrieva@mail.ru)

Аннотация. В статье памяти Юрия Владимировича Манна прослеживается жизненный и творческий путь выдающегося ученого и те заметно-незаметные открытия, которые он сделал в изучении русской литературы и прежде всего в творчестве Н. Гоголя.

Ключевые слова: Ю. Манн, Н. Гоголь, миражная интрига, поэтика, русский романизм, формализм.

Статья поступила 16.02.2022.

© 2023, Е. Е. Дмитриева

В 2011 году, более десяти лет назад, вышла в свет книга Ю. Манна «Память-счастье, как и память-боль...», оставшаяся, увы, не то чтобы незамеченной, тем более что отдельные ее фрагменты публиковались в журналах «Знамя», «Вопросы литературы», «Новое литературное обозрение», но, во всяком случае, не вызвавшая того пристального интереса и осмысления, которого она заслуживала. (Сопоставимая по замыслу книга А. Чудакова, например, «Ложится мгла на старые ступени...» вызвала по понятным причинам значительно больше откликов и интереса.)

Возможно, определенную роль здесь сыграл к тому времени уже устоявшийся имидж Манна — академического ученого, главного гоголеведа страны (хотя далеко не все наши гоголеведы с таким его титулом согласны), исследователя русского романтизма, русской философской эстетики, родовых усадебных гнезд и проч. Человека, уж точно, отнюдь не медийного, хотя и давшего немалое количество интервью журналистам.

Но в книге¹ приоткрылось другое: иная грань (или иные грани) кабинетного ученого, который, как оказалось, был не таким уж и кабинетным. Человека с блестящим чувством иронии, внимательного наблюдателя окружающей жизни и даже, что могло показаться совсем неожиданным, яростного порой полемиста. Но главным достоинством книги было то, что она, составленная из разных глав и, соответственно, разных историй, которым автор находил остроумные наименования, стала по сути хроникой повседневной жизни русского интеллигента, чья профессиональная жизнь началась в послевоенные годы и который прошел через опыт сталинской, брежневской, советской и постсоветской действительности. По сути, история советской и постсоветской повседневности, без претензии быть таковой.

Поражает в первую очередь глубинная честность этой книги. После всего, что было напечатано в годы перестройки и позднее, нас вряд ли можно удивить откровениями о всех тех рифах, что скрывались за радужной картиной советской действительности, сублимировавшейся в кинолентах и репортажах тех времен. Однако особенность повествования Манна заключается именно в том, что мы прочитываем не историю преследуемого или от власти потерпевшего человека, или же диссидента, который сам властно себя системе противопоставляет. Ведь в сущности, можно сказать, что жизнь Манна, если не считать самых последних

1 В 2014 году было выпущено ее второе, дополненное издание.

поистине трагических его лет, складывалась относительно благополучно, то есть с теми взлетами и падениями, что есть в жизни каждого человека. Правильнее, наверное, будет сказать, что это была история очень честного человека, честно пытавшегося жить жизнью своих современников и только постепенно начавшего прозревать, что не все в этой жизни идет по чести и по совести (да простится мне тройная тавтология!).

И только уже умудренный опытом человек с грустью воскрещает то время и те эмоции. И потому так по-хорошему увлекательно следить за первыми, пока робкими попытками противостояния неправде, которые, однако, требовали немалой смелости. И потянули за собой, как потом оказалось, шлейф немалых проблем.

Не замалчивает Юрий Владимирович и проблему своего еврейства, которое в отдельные периоды действительно становится для него проблемой, а в другие, напротив, лишь поводом поговорить об истории государственного и бытового антисемитизма в России. Но именно оно, да еще слишком явная интеллигентность (а интеллигентов, как известно, государственная машина не слишком любит), становятся причиной того непростого пути, который в конце концов все же привел его к работе в Институте мировой литературы (мечте любого филолога советских лет), а затем и Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ), в пору своего основания почитавшемся одним из наиболее профессиональных и либеральных государственных вузов обновленной России. Но только оказывается, что и предшествующий опыт работы — литературным секретарем А. Еголина, учителем Школы рабочей молодежи, редактором когда-то знаменитого ДДК (Дома детской книги), а затем журнала «Советская литература» — был для Манна отнюдь не трамплином, но крайне важным и интересным опытом познания жизни, людей, нравов и, конечно же, литературы.

В самые славные годы его истории Юрий Владимирович начинает сотрудничать с журналом «Новый мир» («Вы — наш», говорят ему в редакции, куда он приносит статью). И он же присутствует при его разгроме, которым «завершилась целая эпоха нашей литературной, да и не только литературной жизни» [Манн 2011: 104]. Возможно, что впоследствии, не слишком часто писавший об иностранных писателях, Манн был как-то по-особенному внимателен к Вальтеру Скотту, потому что именно этот шотландец как никто другой показал,

как история втягивает в свою орбиту частного человека, и как частный человек со своими частными интересами оказывается причастен истории.

Казалось бы, на каком-то этапе все начинается почти блистательно. В первом номере за 1963 год «Нового мира» появляется ныне полузабытая статья Манна «Художественная условность и время»² [Манн 1963]. Автор этой статьи уже не мальчик — ему 34 года. Но он еще и не маститый критик-литературовед, которым позже станет. Статья эта (как и книга «Память-счастье, как и память-боль...») выбивается из нашего устойчивого представления о Юрии Владимировиче. Тот, кто будет в нашем литературоведении отвечать за русскую классическую литературу преимущественно Золотого века, почти начинает свой профессиональный путь с литературы современной, демонстрируя не только прекрасное ее знание, но и глубокий к ней интерес. (Собственно, интерес к ней у Манна никогда не исчезал, и в частных разговорах он охотно о ней высказывался, но в печатных материалах этот интерес присутствовал лишь латентно.)

Обратим внимание, в каком окружении выступает молодой критик: М. Луконин, А. Солженицын, А. Ахматова, И. Эренбург, Т. Бачелис. А в разделе «Литературная критика» — Манн, да еще Ф. Бирюков со статьей «Железный поток и его комментаторы (К 100-летию со дня рождения А. С. Серафимовича)». Но если вторая статья монографична и посвящена конкретно одному роману, то выступление Манна, заявленное скорее как теоретическое, являет собой прежде всего обзор современной ему литературы, позволяющий понять мир предпочтений начала 1960-х годов, то есть времен оттепели. Впечатляет одно перечисление имен и произведений, упомянутых в статье, причем отнюдь не начетническое, но панорамное: Ж. Ануй («Жаворонок»), А. Миллер («Вид с моста»), Н. Хикмет («Дамоклов меч»), Б. Брехт («О повседневном театре»), Л. Пиранделло, Ф. Рабле («Гаргантюа и Пантагрюэль»), Д. Свифт («Путешествия Гулливера»), Н. Гоголь («Нос»), З. Фрейд, Ф. Мориак, А. Левада («Фауст и смерть»), В. Маяковский, В. Мейерхольд, В. Розов («А.Б.В.Г.Д.»). И все же *message* этой статьи — не обозрение современной литературы. Основной поставленный

2 Впоследствии была перепечатана в разделе «Из “Нового мира”» книги «Тургенев и другие» (2008).

в ней вопрос — природа условности и то, насколько адекватно почитать ее приметой современного стиля и письма.

Манн любил говорить, что первое большое произведение Гоголя «Ганц Кюхельгартен» уже содержит в себе — и это не смотря на то, что сам Гоголь считал его полнейшим фиаско, — все те темы, что появятся в позднейших его произведениях. Кажется, подобное можно сказать и о данной статье Манна. Тот, кто будет впоследствии так тонко и глубоко писать об условности, будь то романтическая поэма или проза Гоголя, начинает с призыва уйти от широких обобщений и широковещательных интонаций и работать на конкретном материале:

Спорам о современном стиле, которые страстно и убежденно ведутся у нас на протяжении ряда лет, недостает иногда одного качества — конкретности. Чаше всего вопрос ставится так: соответствует ли «современному стилю» та или другая черта? <...> Не важнее ли конкретное осознание сильных и слабых сторон определенного явления, чем присвоение ему громкого, но, в сущности, ни к чему не обязывающего титула «современный стиль»? [Манн 1963: 218]

Выступая во многом как тот, кто уже сумел пройти через искус формальной школы (к этому вопросу мы еще вернемся) — отсюда и размышления в его статье о *приеме*, *остранении* и *брехтовском отчуждении*, — Манн вносит, как он это будет делать и позднее, и свой ненавязчивый корректив: «В произведении, буквально в любом — ни одно нововведение не остается чисто формальным, но, напротив, приобретает смысловую, содержательную нагрузку» [Манн 1963: 219–220]. И будет дальше говорить о содержательности приема — том гротескном отблеске, который едва заметное «остранение» отбрасывает на все «будничное, обычное, почти реальное». Это гротеск, который уже испытал «сильнейшее влияние традиционно-реалистических стилей» и который ведет «к обнаружению более глубоко упрятанных <...> “первоначальных” человеческих эмоций», «мельчайших движений человеческой души, которые <...> поневоле размывают рельефные очертания прежних типов» [Манн 1963: 223].

Этот гротеск, который молодой ученый открывает в современной ему литературе, совсем скоро он будет изучать у Гоголя: в 1966 году он напишет первую свою большую монографию

«О гротеске в литературе»³, позволившую ему новаторски уйти от понятия «тип», приклеенного в те годы к гоголевским персонажам, и дать им более дифференцированное, более человеческое объяснение. Не случайно в статье об условности столь резко высказывается он против психоанализа З. Фрейда, видя в нем «спекулятивную попытку ответить на потребность “всеобщности” <...> ценою одностороннего обеднения человеческой личности». И остроумно вспоминает при этом Франсуа Мориака, сравнившего Фрейда со злым волшебником, который обещал «открыть двери от всех тайн и открывает, в сущности, лишь одно потайное место, вовсе не потайное, одинаковое у всех людей» [Манн 1963: 223].

Конкретность, нелюбовь к драматическим эффектам, к «приблизительности и выпренности» (вот почему для Манна неприемлема та «страстная защита приблизительности», которую ведет В. Турбин в своей книге «Товарищ время и товарищ искусство»), — все это, заявленное в первой большой новоязированной публикации, и в дальнейшем будет определять его научный стиль. Но эта же публикация аукнется в скором времени для него в момент приема в Союз писателей, совпавший с развернувшейся кампанией «против “искажения действительности”, куда подпадали гротеск, гиперболы, фантастика, иносказание и т. д. — словом, условность...» [Манн 2013].

Свою кандидатскую диссертацию он, так внимательно относящийся к духу времени и движению современной ему литературы, посвятит тем не менее Белинскому, чье «уважение к художественности, к языку искусства», остававшееся «неизменным при всех изменениях и переломах его социальных, философских и литературных взглядов» [Манн 1989: 397], всегда будет импонировать Манну.

Конечно, уже здесь намечается и увлечение Манна немецкой философией, для осмысления которой эволюция Белинского от натурфилософии Шеллинга к субъективному идеализму

3 Ее переиздание в РФБ будет сделано в 2008 году. Проблеме гротеска Манн посвятит статью «О гротескном стиле “Мертвых душ”» (1972). И вернется к этой теме в своей докторской диссертации «Реализм Гоголя и проблемы гротеска» (1972), которую будет защищать в Ленинградском государственном университете. Он также откликнется рецензиями на две монографии о гротеске — Х. Гюнтера «Das Grotesk bei N. V. Gogol. Formen und Funktionen» (1968) и Д. Николаева «Сатира Щедрина и реалистический гротеск» (1977).

Фихте и далее, «в сторону философии Гегеля», а затем и Л. Фейербаха, давала широкое поле деятельности (возможно, и даже очевидно, что здесь сказался и немецко-еврейский контекст семьи: бабушка Манна долгое время жила в Берлине и училась в берлинской консерватории). И стоит ли удивляться, что два года спустя третья по счету его монография будет посвящена русской философской эстетике, формировавшейся под сильным влиянием немецкой философии.

Манн был человеком беспартийным. Он и ученым был беспартийным в высшем и самом глубинном смысле этого слова. Единственной партией, которую он не признавал, была партия глупости и предвзятой идеологичности, что для него было в общем-то одно и то же⁴. Так и книга «Русская философская эстетика» (1998) естественно объединила тех, кто в нашем сознании давно уже остается словно разнесенными по «лагерям» — любомудров, славянофилов, западников. В книге же все они (Д. Веневитинов, Н. Надеждин, И. Киреевский, В. Одоевский, молодой С. Шевырев, Н. Станкевич, В. Майков) представлены не в их идеологической обойме, которая как раз Манна интересует в меньшей степени, но как представители русской эстетической мысли, образующие «тот мощный, идущий от Канта к Шеллингу и Гегелю» пласт (выражение В. Асмуса), понять который «в категориях классицизма или романтизма невозможно» [Манн 1993: 4].

Так и в целом, если посмотреть, кто является героями и персонажами изысканий Манна, то мы увидим, что спектр их крайне широк, хотя и хронологически ограничен, и никакой предвзятости, будь то идеологической или эстетической, достаточно характерной для нынешних времен, не обнаруживает. Гоголь, Грановский, Белинский, И. Киреевский, Кукольник, В. Одоевский, А. Григорьев, Никитенко, Плетнев, Н. Полевой, О. Сомов, Кюхельбекер, Баратынский, Некрасов, Тургенев, Лермонтов, Станкевич, П. Анненков, Кольцов, В. Капнист, Нелединский-Мелецкий, реже — Достоевский, Гончаров, Чаадаев. Из зарубежных писателей — Кафка, В. Скотт, Данте⁵.

4 Показательна в этой связи его статья «Зачем национал-патриотам нужен образ масона?» (1993).

5 При относительно малом количестве отдельных работ, посвященных европейским авторам, контекст западной, и в особенности немецкой, литературы тем не менее густо присутствует в текстах

Можно задаться вопросом, почему такое относительно малое в этом ряду место занимает Пушкин⁶. Не то чтобы Манн совсем о нем не писал. Но заметно, что в работах его Пушкин является как правило сквозь призму кого-то или чего-то другого — Гоголя, Семена Франка, Абрама Терца, геттингенской души и т. д.⁷

Как представляется, одно из возможных тому объяснений можно «вычитать» из того поразительного сопоставления отношения к любви Пушкина и Гоголя, которое мы находим в книге «Поэтика Гоголя» (1978):

От лирического состояния, воплощенного, скажем, в пушкинском «Я вас любил...», гоголевское лирическое состояние отлично не столько степенью чувства, сколько его абсолютно-императивным характером. В первом случае (пушкинском) мы видим человека, молча, с достоинством, с мукой в сердце отошедшего в сторону. Во втором (гоголевском) — этого представить невозможно. Для Вакулы, как потом для Андрия или Пискарева, не любить и не быть любимым — значит не жить. Для них невысказано отречение от любви (как невысказано было бы отречение от божества) — возможно лишь самоотречение и самопожертвование [Манн 1996: 129].

Боюсь утверждать, и все же, когда перечитываешь и пересматриваешь написанное Манном, создается впечатление, что его как *исследователя* притягивала все же не гармоническая пушкинская ясность и его нравственное — вопреки

Манна, посвященных изучению литературы русской. Приведем — как один из множества возможных примеров — тот фон, на котором он исследует «иерархию духовных и физических ценностей» у Гоголя, гарантом которой выступают физиогномика И. Лафатера и теория страстей Ш. Фурье.

- 6 Мы здесь оставляем в стороне пушкинские главы «Поэтики романтизма» как посвященные более анализу зарождения жанра романтической поэмы, чем пушкинской поэзии как таковой.
- 7 Напр.: «Обсуждение книги Абрама Терца “Прогулки с Пушкиным” (1990), «Гоголь как интерпретатор Пушкина» (1992), «Из философского наследия Семена Франка» (1993) «Даже с Пушкиным я не успел и не мог проститься...» (1997), «Aleksander Puškin über die göttingesche Seele» (1998), «Гоголь и Пушкин» (1999), «“Пиковая дама” А.С. Пушкина: “немецкий элемент” как фактор поэтики» (2000). Почти исключение составляет работа «Философские тенденции художественного образа у Пушкина» (1985).

всему — самостоянье⁸, но именно двусмысленность, несводимая к единому решению сложность (ср.: «немыслимо отречение от любви» — «возможно лишь самоотречение»), которую он, в частности, нашел в Гоголе, оппоненте Пушкина. Парадоксом Манна, человека по натуре своей, по всей видимости, гармонического и во всяком случае внешне не подверженно-го нервическим эскападам, было то, что как исследователя его интересовало все двусмысленное, сложное, парадоксальное, не уместяющееся в единую систему координат. Не случайно же он пишет «Заметки о “неевклидовой геометрии” Гоголя» (2002) или же утверждает возможность существования «романтизма без романтизма» в статье «Романтизм без романтизма?» (1993).

Одно из его любимых слов, нередко выносимых в заглавие работ, — парадокс: «Парадокс Гоголя-драматурга» (1981), «Парадоксы литературоведения» (1983), «Парадоксы Владимира Одоевского. К 180-летию со дня рождения писателя» (1984), «Парадокс о Гоголе. (Введение в тему)» (2009).

Не тем ли объясняется и очевидное пристрастие Манна к теме игры и игрового начала⁹, к карнавалу, фантастике, ко всему, где тонкий мир соприкасается с умопостигаемой действительностью? Конечно, здесь ощутим и след Шиллера, писавшего о том, что именно игра и приводит в гармонию современную абстрактную, «теоретизированную» жизнь и «природные потребности» человека, который «играет только тогда, когда он в полном значении слова человек, и он бывает вполне человеком тогда, когда играет...» [Шиллер 2018: 125].

И все же, по-видимому, именно желание разобраться в предельно сложном и противоречивом, почти невозможная задача препарировать его так, чтобы не убита была ни одна мысль, ни одна краска, предопределила то, что стало главным интересом и главной страстью Манна-исследователя — его увлечение Гоголем, как тем, кто в своей многомерности, противоречивой антитетичности как никто другой смог раскрыть тайны мира и человеческой природы. Может быть, именно поэтому Манн, в остальном не слишком любивший галлицизмы,

8 Ср. постановку под знак вопроса этой, казалось бы, столь устоявшейся формулы в статье «Пушкин — “певец гармонии”?» (1990).

9 Напр.: «Игровые моменты в “Маскараде” Лермонтова» (1977), «О мотивах игры в драматургическом произведении» (1991), «Мотивы игры» (1981).

англицизмы и всякие иные иностранные концепты, так переполняющие ныне научную речь, исключение делал для *амбивалентности* — лексемы, в наибольшей степени отражающей особенности гоголевского письма. Вспомним его размышления об «амбивалентности злой ирреальной силы», амбивалентности финала «Шинели», где «торжество справедливости (“последние станут первыми”) окутано очень сложным, как бы колеблющимся светом» [Манн 1996: 94], амбивалентности немой сцены «Ревизора», где «многообразие, тонкость оттенков, линий совпадает с перерывом движения, остановкой; это динамика, перешедшая в статику» [Манн 1996: 214] и т. д.

«Усложнение амбивалентности» — так называется одна из подглавок первой главы «Поэтики Гоголя», где сама амбивалентность словно возведена в квадрат.

Изучение Гоголя и интерес к Гоголю зарождается у Манна, если посмотреть список его работ¹⁰, рано и в сущности до последних дней не покидает его. О Гоголе (впрочем, не только о нем, но и о Грановском, Гуковском, журнале «Европеец» и западничестве) он пишет статьи для Краткой литературной энциклопедии в 1964 году. Защитив диссертацию, посвященную Белинскому, два года спустя он открывает свой гоголевский цикл монографией «Комедия Гоголя “Ревизор”» (1966)¹¹. За докторской диссертацией «Реализм Гоголя и проблемы гротеска» (1972) следуют: «Смелость изобретения. Черты художественного мира Гоголя» (1975); «Поэтика Гоголя» (1978), впоследствии не только переизданная (2007), но и переведенная на японский (1992) и итальянский (2014) языки; «В поисках живой души. “Мертвые души”: писатель — критика — читатель» (1984); «“Сквозь видный миру смех...”»: Жизнь Н. В. Гоголя, 1809–1835» (1994).

Эта последняя книга открыла в истории гоголеведения Манна новую страницу — биографическое освоение творческого пути Гоголя. За ней последовали: «Гоголь. Труды и дни: 1809–1845» (2004); «Н. В. Гоголь. Судьба и творчество» (2009) и, наконец, трилогия: «Гоголь. Книга первая. Начало: 1809–1835»

10 Библиографию работ Манна за 1963–2008 годы, составленную Е. Самородницкой, см.: [Библиография...2009].

11 Я сознательно опускаю здесь статьи Манна, посвященные Гоголю, как и рецензии на гоголевские труды его коллег, вступительные статьи к изданиям сочинений Гоголя, одно перечисление которых могло бы занять все пространство, отведенное для данной статьи.

(2012); «Гоголь. Книга вторая. На вершине: 1835-1845» (2012); «Гоголь. Книга третья. Завершение пути: 1845-1852» (2013).

Биографий и историй творческого пути Гоголя написано немало. С. Машинский, Н. Степанов, И. Золотусский... Недавно вышла шеститомная летопись Гоголя, подготовленная И. Виноградовым. У всех этих трудов есть свои неоспоримые достоинства, возможно, и свои недостатки. Но не об этом сейчас речь. Важнее понять, чем та творческо-биографическая трилогия, что так логически завершила гоголиану Манна, отличается от остальных. Впрочем, итак понятно, что без нее наше сегодняшнее понимание и прочтение Гоголя было бы уже немислимым.

Возможно, отсутствием тенденциозности. Качеством, которое само по себе не может быть ни достоинством, ни пороком. Только у Манна собственная концепция и собственное понимание, какими бы правильными или красивыми они автору ни казались, никогда не предрешены заранее, но рождаются из очень честного и обстоятельного рассказа, учитывающего самые противоречивые свидетельства и все «за» и «против» (не случайно он всегда был так внимателен к проблеме достоверности источников)¹². *Du choc des opinions jaillit la vérité* (из столкновения мнений рождается истина) сказал французский классик, и афоризм этот вслед за ним повторили Пушкин и Вяземский.

Собственно, принцип этот был положен Манном и в концепцию историко-литературного комментария к Полному собранию сочинений и писем Гоголя, задуманному им в начале 1990-х годов, «ноу-хау» которого стала герменевтика гоголевских произведений, доведенная до сегодняшнего дня. (Что, надо сказать, не раз вызывало возражения коллег: традиционно в академических изданиях раздел критики ограничивается прижизненной рецепцией.) Но именно разнообразие толкований и пониманий, сведенных в комментарии воедино, могло стать, по мысли Манна, условием хотя бы относительного неустаревания комментария. Не субъективное видение того или иного комментатора, авторитарно подсказывающего, как надо понимать текст, но «точки пересечения», на которых возникает, дабы воспользоваться словами самого Манна, «яркая вспышка», эффект которой «еще и в том, что она преобразует контуры

12 Напр.: «Обаяние достоверности» (1985), «Гоголевские мемуары Анненкова как эстетический документ» (1985), «Возможности историзма» (1965).

предметов, отбрасывает на них — воспользуемся термином старых немецких романтиков — некое магическое освещение (*magische Beleuchtung*)» [Манн 2008: 464].

«Одна из самых властных человеческих потребностей — распутывать подлинную связь причин и событий» [Манн 1968: 244], — утверждал он в другой своей работе, очевидно опираясь на собственный опыт.

Были и есть те, кто порицал его (как порицал и нас, его коллег и учеников)¹³ за это признание возможности разных, внешне, казалось бы, исключаящих друг друга интерпретаций Гоголя, прочитанного как натуралист и символист, романтик и предтеча европейского экзистенциализма и авангарда (и ведь не случайно тема, настойчиво повторяющаяся в работах Манна, — «Гоголь и Кафка»¹⁴). Наконец, — ставший острым и болезненным в последнее время вопрос. Может ли ревнитель православия и государственной монархии быть одновременно и эстетом, считающим, как в это верили ранние немецкие романтики, что искусство и есть тот язык, на котором Бог разговаривает с человеком? Для кого-то — ситуация абсолютно невозможная. Для Манна, напротив, лишь укрупняющая личность и углубляющая наше ее возможное понимание.

И, возвращаясь к разговору о трилогии Манна, посвященной жизни и творчеству Гоголя, скажу еще следующее (проявится и здесь след его немецких увлечений и познаний). Мы знаем, что одним из ведущих жанров немецкой литературы рубежа XVIII–XIX веков стал воспитательный роман, образцом которого почитались «Годы учения Вильгельма Мейстера» Гете. Помню, Манн говорил, что любил этот роман, да и как мог не ценить он его, занимаясь В. Одоевским, для которого этот роман во многом был образцовым. В очередной раз риску

13 Помню, как несколько лет назад, после интервью, которое я дала газете «Московский комсомолец», ко мне в коридорах ИМЛИ подошел сердито П. Палиевский: «Ваш отец был однопартийным, а вы разводите всякую ересь, что, дескать, Гоголя можно понимать по-разному». — «Мой отец был беспартийным», — ответила я. Могла бы добавить: «Как и Юрий Владимирович Манн». Но не добавила.

14 Напр.: «Франц Кафка. Голый среди одетых» (1991), «Франц Кафка и Гоголь (О судьбе одной постромантической традиции)» (1995), «Кафка и Гоголь» (1996), «Встреча в лабиринте (Франц Кафка и Николай Гоголь)» (1999).

предположить, что и свою трилогию «Гоголь» Манн в определенном смысле выстроил по принципу романа воспитания: человек отправляется в путь, и странствие это становится историей его воспитания и залогом свершения (обратим внимание на подзаголовки трилогии — «Начало», «На вершине», «Завершение пути», — которые словно прочерчивают траекторию). Возможно, именно поэтому вопрос о том, позволено ли сводить воедино биографию и творчество художника, — вопрос, который стоял, в частности, перед Ю. Лотманом, писавшим биографию Пушкина, — для Манна был в данном случае не слишком релевантен¹⁵.

Был ли собственный путь у исследователя Манна? Разумеется, был. Но не скачкообразный, не тот путь, на котором происходит смена вех, но путь, заложенный с самого начала и который определяется лишь качественными наращиваниями. Путь нептунизма, противостоящий вулканической теории развития, если позволено еще раз воспользоваться аналогией из немецкой литературы («Фауст», вторая часть). Путь, пройденный и Гоголем. Ибо, как считал Манн, не было в гоголевской эволюции резких сломов умонастроения и изменения его взгляда на мир как художника. Поздний Гоголь уже просвечивает и прочитывается в ранних его творениях.

Думаю, что в будущем нам еще предстоит подробнее осмыслить, что являет собой научный стиль Манна. Оставил ли он после себя школу? Вряд ли. Хотя несомненно одно, после работ Манна о Гоголе, о русском романтизме, о Тургеневе и проч. невозможно смотреть по-старому на очень многие проблемы. И в этом смысле труды его еще при жизни стали классикой, тем, что немцы называют *Standardwerk*, и тем, что невозможно не знать не только филологу, но и любому образованному и читающему человеку.

Но под каким знаменем числил он себя сам? К какой методологии примыкал? Чьи взгляды развивал и разделял?

15 О биографизме как одном из формообразующих моментов поэтики (термин Веселовского) Манн пишет во введении к «Поэтике русского романтизма». Образцом единения биографического материала и порожденной им культурной среды стало замечательное исследование Манном кружка Н. Станкевича («В кружке Станкевича. Историко-литературный очерк», 1983), из которого вырос более поздний и более обширный труд: «Гнезда русской культуры. Кружок и семья» (2016).

Безусловно, большую роль в становлении его сыграл М. Бахтин, чьи работы и значимость в 1970-е годы открывал его однокашник по Московскому университету и друг С. Бочаров. Возможно, что и на изучение гротеска в определенной степени его натолкнул труд Бахтина «Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса». Правда, сам Манн поначалу более ссылается на западные труды — К. Флегеля, Г. Шнееганса, В. Кайзера¹⁶, а позже будет с восторгом отзываться об уже упомянутой выше книге Х. Гюнтера «Гротеск у Гоголя». При этом бахтинский след совершенно отчетливо проступает в пристальном внимании Манна к проблемам карнавала и карнавализации. Главой «Гоголь и карнавальное начало» открывается книга «Поэтика Гоголя». Впрочем, как это часто у него бывает, подхватывая чужую, но близкую по духу мысль, Манн тут же вносит в нее свой мягкий и вместе с тем точный корректив. Развивая бахтинскую концепцию карнавального смеха у раннего Гоголя, Манн увидел в «Вечерах» и существенное отступление от карнавальной традиции — отход от всеобщности действия в сторону индивидуализации и механической имитации жизни, предвещающий весь комплекс мотивов «Мертвых душ»¹⁷.

Однажды в разговоре Манн шутливо назвал себя неформальным формалистом. О том, что искус формального метода он определенно прошел, мы уже говорили в начале этой статьи. Труды В. Шкловского, но в особенности Ю. Тынянова и Б. Эйхенбаума он обильно цитирует в своих работах, причем, как мы уже отчасти это видели, вводя в свой формальный анализ как необходимые составляющие — вопросы о «смысле» и «значении». Характерно название, которое он даст и своим поздним книгам, собрав в них многое из написанного: «Сквозь форму к смыслу. Самоотчет. Ч. 1: Из гоголевской мозаики» (2015), Ч. 2 (2016), высветив тем самым своего двуглавого Яну-

16 Flögel K. Geschichte des Grotteske-komischen (1788); Schneegans H. Geschichte der grotesken Satire (1894); Kayser W. Das Grotteske in Malerei und Dichtung (1957).

17 Помимо «Поэтики Гоголя», также можно отметить его статью «Карнавал и его окрестности» (1995). В данном суждении Манн неожиданно пересекается с С. Аверинцевым, заметившим однажды («Бахтин, смех, христианская культура»), что за абсолютизацией смеха у Бахтина в большей степени стоял его «непосредственно-жизненный опыт», более «непреложный», чем все теоретические построения.

са смысла и формы. Возможно, потому ему даже ближе был В. Жирмунский, еще один «еретик от формализма», которого Манн многократно упоминает в монографии «Поэтика русского романтизма». «То, чего исследователь в произведении не чувствует, не видит, не переживает, — скажет участвующий в дискуссии Манн (статья «Грани достоверности»), — не откроют ему никакие изощреннейшие приемы структурного или любого другого анализа» [Манн 1974: стр]. Не почувствованное и не пережитое для него просто не существуют. И, солидаризуясь с Аверинцевым в том, что без «человеческого опыта» истинный филолог немислим, добавит:

Специфика литературоведения вытекает из особенностей его методологии. Если физика, скажем, видит свой смысл в общей теории таких, например, явлений как электричество, теплота, сила тяготения и свет, то в основу плодотворного изучения литературы положить всеобщий закон не удастся — здесь происходит нечто противоположное: чем более общо, тем абстрактнее и поэтому бессодержательнее <...> Есть, видимо, в самом характере мышления нашей науки нечто противящееся сниманию «итогов» и «конечных формул» [Манн 1974: стр].

Автор двух монографий о поэтике находит и в этой относительно нормативной области свой путь. Во введении к «Поэтике русского романтизма» он пишет:

От обычных общих трудов по русскому романтизму наше исследование отличается тем, что оно <...> концентрируется на аспектах художественной структуры. От работ по поэтике конкретного писателя <...> что оно стремится понять некоторые структурные особенности русского романтического движения в целом. Само собой разумеется, что поэтика понимается нами как содержательная форма. Иначе говоря, мы стремимся в первую очередь понять смысловые значения элементов поэтики и ту содержательность, которую они в себе несут [Манн 1976: 4].

Вписывая свое исследование тем самым одновременно и в традицию исторической поэтики, заданную Веселовским¹⁸, но

18 Правда, Манн цитирует в этой книге в основном одно исследование — книгу «В. А. Жуковский. Поэзия чувства и “сердечного воображения”» (1918), полагая ее одним из трех фундаментальных

еще более — соотнося его с классическим трудом Жирмунского «Байрон и Пушкин» (1924), опыт Жирмунского Манн словно повторяет, но уже в зеркальном отражении. И если Жирмунский решил в начале 1920-х годов уйти от традиций содержательного анализа, представив воздействие Байрона на Пушкина как историю становления романтической поэмы с ее набором формальных приемов — стиля, композиции, но также и... *тематики*, то Манн, напротив, вновь возвращается к содержанию, только и позволяющему понять «структурную форму русского романтизма». И выбирает в качестве главной категории конфликт, рассматривая его как «узловую категорию поэтики, неразрывно связанную с содержанием литературного произведения» [Гуревич 1977: 375].

В книге «Поэтика Гоголя» он идет еще дальше, рассматривая наряду с обычными аспектами поэтики (композиция, сюжетосложение, принципы характеристики персонажей и т. д.) также и такие, которые «как бы осуществляют объединение и координацию целого» [Манн 1996: 8]. Таковы проблемы реального и фантастического, соотношения духовных и физических способностей, проблема «общей ситуации» и т. д. Само выдвигание этих проблем подсказывается гоголевской эволюцией. Пожалуй, самым продуктивным аспектом этой новой поэтики стал концепт миражной интриги, вошедший уже прочно (почти как хронотоп Ухтомского-Бахтина) в научный обиход¹⁹. Ничего подобного в изучении поэтики ранее не было, и в этом сказался прорыв Манна не только как историка литературы, но и как теоретика.

Самым последним трудом, вышедшим уже в последние месяцы его жизни, стала подготовленная им с Т. Калгановой книга «Изучаем Гоголя вместе с Юрием Манном: пособие для учителя» (2022). Манн вообще довольно много писал и публиковал для детей — школьников, студентов. Одна из ранних (и, надо сказать, по сей день наиболее востребованных) его

трудов о русском романтизме. Два других — двухтомник И. Замотина «Романтизм двадцатых годов XIX столетия в русской литературе» (1907) и монография Г. Гуковского «Пушкин и русские романтики» (1965).

19 Уже после появления книги Манна черты миражной интриги будут обнаружены исследователями в творчестве А. Сухова-Кобылина, в авангардистской литературе начала XX века, в текстах Андрея Платонова и Михаила Булгакова. Перенос метафоры миража на русскую литературу в целом характеризует монографию Марии Виротайнен «Пути и миражи русской культуры» (1994).

монографий «Смелость изобретения. Черты художественного мира Гоголя» (1975) тоже была написана для детей и выпущена издательством «Детская литература».

Участник дискуссии (вместе с Лихачевым и Аверинцевым) о научности литературоведения²⁰, Манн, как уже отчасти было сказано выше, не склонен был жестко разделять научное исследование и его популяризацию: «Ведь сам литературовед — прежде всего читатель, то есть человек с очевидным художественным и нравственным опытом». А «житейское знание людей представляет собой форму знания, достаточно инородную по отношению к тому, что обычно называют “научностью”: неустрашимость этого элемента придает всем собственно гуманитарным типам анализа весьма характерный облик» [Манн 1974: 6].

И поэтому, выступая за популяризацию знания и уважая здравый смысл, Манн популяризацией (еще один парадокс), в сущности, и не занимался. Строго научный дискурс с использованием сложной лексики и усложненной синтаксической конструкции, с течением мысли, которая неискушенному читателю не слишком легко поддается, — все это было для Манна и во «взрослых» книгах слишком далеко.

Всем, кто читал его работы, ведома его спокойная, неторопливая манера изложения, сохраняющая уважение к художественному тексту, о котором идет речь, и оттого воспринимающаяся крайне увлекательно. Как тут не вспомнить пушкинское: «...сия юная питомица Талии и Мельпомены, щедро одаренная Апол... боже мой, да поставь: эта молодая хорошая актриса — и продолжай...»

И эта благородная простота выражения и изложения, которая высвечивает мысль и не позволяет допустить ее отсутствия, — есть еще одна примета неповторимого стиля Манна.

Он ушел от нас в холодный февраль 2022 года. И много было тогда сказано горьких и высоких слов. Скоро исполнится год, после того, как его не стало. Перефразируя сказанные когда-то Иваном Пушным слова, скажем и мы, что утешаем себя тем, что он всегда жив для тех, кто его любил, и для всех умеющих отыскивать его, живого, в его творениях.

20 Статьи Д. Лихачева «Популяризация или исследование?» (1974), С. Аверинцева «Наш собеседник — древний автор» (1974), Ю. Манна «Грани научности» (1974).

Литература

Гуревич А. М. Эволюция романтической поэтики // Вопросы литературы. 1977. № 8. С. 249–254.

Библиография работ Ю. В. Манна / Сост. Е. Смородницкой / Поэтика русской литературы: Сборник статей к 80-летию проф. Ю. В. Манна / Под ред. Н. Д. Тамарченко. М.: РГГУ, 2009. С. 479–505.

Манн Ю. В. Художественная условность и время // Новый мир. 1963. № 1. С. 218–235.

Манн Ю. В. К спорам о художественном документе // Новый мир. 1968. № 8. С. 244–254.

Манн Ю. В. Грани научности // Литературная газета. 1974. 23 октября. С. ?.

Манн Ю. В. Поэтика русского романтизма. М.: Наука, 1976.

Манн Ю. В. Белинский и развитие литературной теории // История всемирной литературы: В 9 тт / Под. общ. ред. Г. П. Бердникова. Т. 6. М.: Наука, 1989. С. 396–403.

Манн Ю. В. Зачем национал-патриотам нужен образ масона? // Известия. 1993. № 33. 20 февраля. С. ?.

Манн Ю. В. Поэтика Гоголя. Вариации к теме. М.: Coda, 1996.

Манн Ю. В. Художественная условность и время (К вопросу о современном стиле) // Манн Ю. В. Тургенев и другие. М.: РГГУ, 2008. С. 459–491.

Манн Ю. В. «Память-счастье, как и память-боль...» Воспоминания, документы, письма. М.: РГГУ, 2011.

Манн Ю. В. Еще «клочки воспоминаний» // Знамя. 2013. № 8. URL: <https://novayagazeta.ru/articles/2005/04/07/25925-kury-v-muzee> (дата обращения: 02.11.2022).

Шиллер Ф. Письма об эстетическом воспитании человека / Перевод с нем. Э. Л. Радлова. М.: РИПОЛ классик, 2018.

